

КРИТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. ГРИГОРЬЕВА

В статье рассматривается решение проблемы взаимодействия двух культур – западноевропейской и русской – известным мыслителем середины XIX века А.А. Григорьевым. Исходя из «органического» понимания культуры, Григорьев настаивает на противоположности европейской культуры как католической и русской как православной, утверждая при этом идею будущности русской культуры как развивающейся и раскрывающей все богатство православия как истинного богопознания.

Ключевые слова: почвенничество, органицизм, культура, славянство, европеизм, западничество, славянофильство, народность, православие.

Проблема Запада и его взаимоотношения с Россией – одна из принципиальных для становления национального самосознания – постоянно была в центре внимания русских мыслителей на протяжении всей истории развития отечественной мысли. Эта проблема занимала значительное место в сочинениях Аполлона Григорьева, Н.Н. Страхова, Ф.М. Достоевского и его брата М.М. Достоевского, имеющих разное положение в истории русской мысли, но объединенных одно время в группу, получившую название «почвенничества». Почвенники стремились синтезировать славянофильство и западничество, дополняя их мысли своими собственными построениями.

Почвенники исходили из «органического» понимания русской народности, что предполагало исторически обоснованный и свободный от сентиментальной идеализации взгляд на прошлое и давало простор для разумного и здорового общения с другими народами, отрицая лишь всякую антиисторичность, всякое «неорганическое» перенесение чужого в свое. Эту идею дополняла вера в историческую ценность и общечеловеческую миссию русской «народности». Настаивая на необходимости обращения при решении всех вопросов к «почве», под которой понимали историю и современность, эмпирическую полноту и метафизическую глубину «народа», т. е. фактически национальность, почвенники, по мнению В.В. Зеньковского, заняли позиции «своеобразного религиозного национализма» [см. 4, с. 105]. С этих позиций они и подошли к решению проблемы взаимоотношения Западной Европы и России.

Критика европейской культуры, проблема отношения России к Западу привлекла внимание и Григорьева – человека высокоодаренного

и по праву считающегося идеологом «почвенничества». Свое отношение к Европе и европейской культуре Григорьев составил на основе непосредственных впечатлений, когда жил за границей с 1857 по 1858 год. Вдали от родины Григорьев многое передумал и, по его собственным словам, написал «нечто вроде целой книги», но не о путешествии. «Это долгая, добросовестная дума о нас, о нашем умственном и душевном состоянии в настоящую минуту, проверка всех наших умственных, эстетических и нравственных запасов перед судом совести – дума, развивавшаяся у меня на дороге с той самой минуты, как двинулся пароход», – написал он своему другу А.Н. Майкову из Флоренции (1857 г.). К сожалению, судьба этой книги осталась неизвестной, но, как это часто бывает, чтобы понять по-настоящему самих себя, прояснить свои общественные идеалы, необходимо взглянуть на себя как бы со стороны. Италия, Франция, Германия были интересны Григорьеву прежде всего своей культурой, которую он с увлечением изучает. Жизнь, быт, религия, нравы – все привлекает внимание мыслителя. Свои мысли и ощущения Григорьев описывает в письмах «к друзьям издалека» и делает это очень ярко и откровенно. В Европе ему жить не понравилось, как прежде не понравилось жить в Петербурге, городе, по мнению Григорьева, слишком нерусском: «За границей можно учиться и ездить по разным городам. Но надобно быть чем-нибудь от Господа Бога обиженным, чтобы для удовольствия жить в каком-либо месте, кроме отечества» [3, с. 156]. И еще: «Жить (хоть иногда и премилая жизнь) можно только в России, даже, *специальной* говоря, в Москве» [3, с. 144]. Заграница вызывала у Григорьева хандру, скуку, он постоянно писал о своей тоске

по России, и поэтому, едва выдержав год такой жизни, он неожиданно возвращается на родину, хотя прежде собирался продолжать учить молодого князя Трубецкого в Италии. Григорьев писал, как 30 августа по старому стилю он вдруг вспомнил, что это день именин А.Н. Островского, день бурных попок, «святых своим братским характером, духом любви, юмором, единством с жизнью народа, богослужением народу... В Россию! Раздалось у меня в ушах и в сердце!..» – и тотчас же, написав Трубецким отказ «по домашним обстоятельствам», отправился на родину. Григорьева, «отрицавшего» Европу подобно многим, нельзя упрекнуть в том, что в реальной жизни для себя он предпочитал европейский стиль и тип существования [см. 5, с. 9]. Внешний лоск заграницы Григорьева мало прельщал, да и был, по его мнению, сомнительного качества: «Удобства жизни! Да! Для кого *жизнь* в стакане шоколада, чашке кофе и проч. Это все дешево – да и скверно вдобавок. Трактиры и кафе прегрязные. Я, разумеется, хожу в самые грязные из грязных, где народ. Но все и аристократические даже – просто *капказы* наших трактиров» [3, с. 182].

В своих письмах друзьям Григорьев пишет о традиционном для русских преклонении перед Западом и о своем чувстве от этого: «Мне больно и стыдно было за наших гелертеров, восхищающихся наивно наслаждениями Берлинской или Венской жизни. Это какие-то копеечные, расчетливые удовольствия. Мы, т. е. русские, так удовольствоваться не умеем, да и слава Богу, что не умеем. Ведь способность так жить, способность к копеечному сладострастию – показывает страшную мизерность души» [3, с. 140]. Следствием такой «мизерности души» является, без сомнения, невежественность немцев, в чем Григорьев быстро и убедился, когда постояв без шапки перед Берлинским университетом, где на целый мир звучало слово венценосных Гегеля и Шеллинга, он зашел в книжную лавку спросить портрет своего идола, прибавив еще *Herrn Professors...* На что получил ответ: «А кто это господин Шеллинг?» [см. 3, с. 140]. Немцы в особенности произвели на него сильное впечатление. В письме к Е.С. Протопоповой 1(13) сентября 1857 года Григорьев пишет: «Я истерически хохотал над пошлостью и мизерией Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффек-

тацией, честной глупостью и глупой честностью...» [3, с. 143]. Для него европейцы – это англичане, немцы, итальянцы, поляки и т. д., но пристальное взглядывание позволяет Григорьеву различать национальные черты этих народов и давать им характеристики: «Итальянцы – народ страстный, но не живой: они любят великолепную ветошь, мишуру жизни. Здесь поймешь, как Италия пропраздновала и славу и независимость. А все-таки жаль ее!..» – и в этом же письме: «Вот я теперь в весьма дружеском сожитии с англичанином, честнейшим и добрейшим господином... – но ведь *тупоумие* – то какое, но ведь *юмор* – то какой мизерный... Нашей любви к типам, из-за кося мы готовы прожигать жизни, пари держу, не поймет ни один образованный европеец – этим-то они и дрянь» [3, с. 145]. И далее делает вывод: «Люди же – право, все гнусны, кроме славян. Сих последних, кого я ни встречал – чехов ли, поляков ли – *весьма* скоро сходился – и тотчас же устанавливались братские и простые отношения...» [3, с. 145]. Должно быть, это – следствие родства душ славянских народов. «Мизерности» же души европейца Григорьев противопоставляет широту «русской души», тайну которой он силился понять, обращаясь к сложной и противоречивой истории России. Два начала можно обнаружить в русской душе: осаживающее – это смиренное, «растительное», податливое и стремительное – «разинское», буйное, страстное, «хищное». Обе крайности Григорьев очень любил, видел их воплощение в Пушкине как своим идеале.

В обосновании противоположности Запада и России Григорьев исходит из органической теории, последователем которой он являлся, смещая, однако, некоторые акценты в ее истолковании. По его мнению, определяющими в организме-мире являются не общие законы дискретного целого, а индивидуальные законы отдельных типов-организмов. Считая народы организмами в пространстве, Григорьев приходит к выводу, что их противоположность – изначальна. Что касается изменения этих организмов, то они происходят только в плоскости их собственного существования по собственным имманентным законам, реализующим идеальные жизненные начала. Взаимодействие типов между собой не меняет в них ничего по существу. Европейская культура основана на католичестве – в этом ее своеобразии, ее ценности,

но и ее слабость. Русская культура – православная, и религиозная полнота и правда православия не только освобождает от всех духовных пут, в которых пребывает Европа, но и таит в себе творческие основы для построения культуры, новых форм жизни, для дальнейшего развития. Эта тема была основательно проработана у славянофилов, но Григорьев не просто продолжает ее развитие – он находит ее новые проявления. А то, что европейская культура и европейская цивилизация пережили уже свои лучшие времена, для Григорьева не оставляет сомнения. История Европы, памятники ее искусства величественны. Это «чудное далеко», как пишет Григорьев из Флоренции, «памятниками своего великого искусства, отзывами своего громадного прошедшего способно приводить человека в лихорадочный трепет. Жизнь из одних лирических минут состоять не может – говорю это я, я, способный, однако, постоянно за лирические минуты отдавать все, что угодно... Вне лирических минут, которые дает мне новый все больше и больше мне раскрывающийся мир картинных галерей, – со мною большею частью хандра безобразнейшая» [3, с. 159]. Все свое свободное время Григорьев проводит в галереях: «Тут иного и делать, впрочем, нечего. Тут только старое хорошо. Жизнь впереди – наша, наша, наша! Это все изжилося и измельчало. Нужна ужасная ограниченность, чтобы чему-нибудь в их настоящем завидовать... Даже наша жирная, пьющая без просыпу и сопровождаемая загулами до зеленого змия Масляница носит в себе больше, чем их *теперешний* карнавал, семян жизни, широты, братства...» [3, с. 187]. О настоящем Европы мыслитель со свойственной ему резкостью высказывается очень негативно, подчеркивая страшный контраст между громадностью прожитой жизни и мелочностью настоящей. «В этой заглушенной тине подчас пробиваются отрывки старых вулканов – то неистовыми порывами Верди, то... мало ли чем... ну, хоть бычачьей грудью теноров и кузнечиков. И все эти силы поражены параличем – поражены навеки, ибо во время оно свое дело делали...» [3, с. 174]. Силы эти были заключены в католицизме, но было это давно, лет 300 назад, «когда *спирт* еще не испарился из католицизма – несмотря на глубокий разврат монахов и Медичисов». Католичество принесло прекрасные плоды – великую средневековую и ренессанс-

ную культуру. Изучение величественных памятников этой культуры приводит Григорьева к выводу, что корень упадка Запада в нем самом: «Но не поделом ли ты покинут, старик?.. Не лежали ли в тебе *en germe* и в эпоху твоего цвета и силы все твои теперешние язвы?.. А! вот кстати и твой хвостик: направо, запертые в огромном стеклянном шкафе (придел совершенно как шкаф), каноники режут голосами разными что-то, чего никто не слышит, чего они сами не понимают. Не ты ли возжигал костры, когда человеческий разум требовал у тебя отчета? Поделом!.. » [3, с. 172].

Католичество утратило искру Божию, когда смешало искусство и религию, что делать ни в коем случае нельзя. Это – две разные вещи. Религия – это богопознание. Такой религией остается православие, которое вслед за Византией сохранило в символистике иконы небесные идеалы. Православные иконы в художественном отношении могут быть даже безобразными, дело не в художественности, потому что иконы нельзя расценивать как искусство или даже шаг к искусству. Иное дело – настоящее искусство. Оно передает земное, видимое, в нем есть народность (германская, голландская и т. д.). Смешав искусство и религию, католичество перестало быть христианством, все более превращаясь в язычество, мифологию. В письме к А.Н. Майкову из Флоренции (1857 г.) Григорьев пишет: «Все, что православие сохранило как символ, как линии, – напоминающие и возводящие к иному миру, – католичество развило в *мифы*, отелесило так, что видимое заменило собою невидимое. Эта идея во всем и повсюду. Везде *папство*, т. е. низведение царствия Божия на землю, в *определенные*, прекрасные, но чисто человеческие идеалы. Крайнее последствие этого – мадонны с любовниц – и музыка из «Лукреция Борджия» во время католической обедни (это не шутя)... Объясните-ка мне вот такой факт. В деревушке A Ponte Mogiano, близ которой была вилла, где я прожил два месяца, меня поразило, *во-первых*, что там стоял на распутьи прекрасный образ Мадонны, и, *во-вторых*, что подле этого образа живут язычники, самые грубые и невежественные: и в каком-нибудь захолустье нашем, в ветхой деревянной церкви существует безобразная в художественном отношении *иконопись* – но там живут христиане, которые знают различие между *образом* и Бо-

гом... – Вот еще что я слежу и что интересно следить: это переход Мадонны в Боги – в равного лицам Пресвятой Троицы. Он в Уффиции – совершенно ясен...» [3, с. 151]. Православие сохранило свою силу как религия и передает эту силу всему русскому: «Сила *нашего* именно в том, что оно не перешло в образы, заслоняющие собою идею, а осталось в линиях, только напоминающих... А еще сила в том, что все *наше* есть еще живое, растительное – когда здесь – великолепное здание, поросшее мохом... и что еще «не у явися, что будем» [3, с. 154]. Понимание этой силы делает невозможным поклонение западной культуре, какими бы сокровищами она ни обладала, и возвращает нас к византийской традиции. Здесь Григорьев настолько категоричен, что готов солидаризироваться со славянофилами, о чем сообщает своему духовному отцу и наставнику М.П. Погодину в письме (1857 г.): «Мы (т. е. славянофилы) хотим все доказывать великие нелепости, как-то, – что византийские типы не в пример *прекраснее* художественно итальянских Мадонн» [3, с. 153–154]. Главное же в том, что православие потенциально богаче католицизма, который уже принес свои плоды, и эти плоды восхитительные. «Несмотря на все это, византийство *en germe* несет в себе концепции более великие, более захватывающие дух – и ничто не сравнится с внутренностью Архангельского собора, – взятой как *ebauche*, выполненная *покаместь* кирпичиком вместо мрамора, вохрой вместо краски, – с трапезною церковью Сергиевской Лавры, с галерейкою Спаса на Новом (можешь себе представить, что я пишу эти святые и милые имена – и слезы так и льются? Вот что значит, любезнейший, быть на чужой стороне), – и это я говорю теперь *сознательно*, а не потому только, что русское начало, хоть и романтическое, у меня и в мозгу и в крови» [3, с. 171]. Григорьев верил, что русская культура еще должна принести свои лучшие плоды.

Антизападничество Григорьева нарастает по мере его погружения в европейскую повседневность. В ней он видит только нравственный упадок и даже *la mort* (смерть), тогда как о провозглашенных *liberte, egalite, fraternite* (свободе, равенстве, братстве) не может идти и речи: их «нет покаместь – потому взять неоткуда». Это не было открытием Григорьева. Это было очевидным для многих. И тем возмутительнее с точки зрения мыслителя было стремление «по-

казать, что и мы дескать европейцы, и у нас есть блудницы, скандальные истории, *Demi-monde*... Это ужасно!» [3, с. 154]. Чувство негодования тем сильнее, что это голос из России, что это – первые плоды нашей свободы слова. Свобода слова для того, чтобы на весь мир заявлять с похвалой о своей моральной распущенности? Эти размышления возвращают Григорьева к Герцену: «Бедный, обманутый, самолюбием ли, его на мысль... что уж лучше старообрядчество, чем подобная пакость моральной распущенности!» [3, с. 155]. Рабское преклонение перед всем европейским, которое встречается у русских путешественников, Григорьев называет «богопротивной глупостью». Но этим же эпитетом он награждает и безосновательное стремление принизить западную культуру, противопоставить ей русское на том только основании, что оно русское. Наивное бахвальство соотечественников – русских туристов в Италии – очень раздражало мыслителя. Вот как об этом писал Григорьев к Эдельсону в письме от 13 декабря 1857 года: «Два сорта богопротивной глупости встречаются в русских путешественниках. Первый сорт – «*благоговение*» перед волосами Лукреции Борджиа или восторги от того, что правитель Флоренции называется *Gon Faloniere*, второй – приравнение наших Казанских соборов к великим отсадкам человеческого гения и исполинской мощи в памятниках Запада. Не шутя. Раз гуляли мы с весьма умным господином, сенатором Войцеховичем, в садах Боболи. И он, и я как-то были настроены ругать заграничную жизнь и поездки за границу. Вдруг попадается нам холуй – соотечественник, некто г. Васильчиков. Желая должно быть попасть в наш тон, из уважения к сенаторству Войцеховича и к моему литературству, он сгоряча-то и хватъ... по лбу. «Что дескать ездить за границу? У нас «Никола Морской» в Петербурге ничуть не хуже Миланского собора», – так мы с Войцеховским и сгорели. Эж его! нет, значит рано еще желать, чтобы мы, русские, перестали ездить за границу – собачий хвост еще очень виден» [3, с. 170]. По этой причине критик с сомнением воспринял замысел одного из русских авторов – некоего Н.А. Жеребцова – написать книгу, задача которой, со слов ее создателя, в том, чтобы «доказать, что у нас все было, есть и будет лучше, чем на Западе». Григорьев характеризует такого рода авторов «мельницами, перемалы-

вающими чужую муку», а задачу книги – «печальнойю». Об этом он пишет М.П. Погодину из Флоренции в феврале 1858 года: «Я называю такую задачу печальнойю – потому что, право, мне теперь равно противны восторги от волос Лукреция Борджия и восторги от того, что мы тридцать лет сидели сиднем...» [3, с. 191].

Поездка за границу Григорьеву была нужна для прояснения вопросов, которые были принципиально важными для его мировоззрения, вопросов старых, «ибо, – как он писал, – *существенно* только за их уяснением себе я поехал» [3, с. 157]. Что это за вопросы? Например, такой: что важнее: «сухая ли деятельность специализма или непосредственность даровитости?». Для Григорьева – ученость полезна против невежества, опасность которого для культуры очевидна, но при этом мыслитель утверждает: «Мы верим в даровитость, ум, ловкость, силу, энергию – одним словом, в Божье, в ком бы оно и в чем бы ни проявилось» [3, с. 168]. И подтверждает свои слова полезным наблюдением: «Вот здесь на Западе, что ни человек, то и специалист – от того-то здесь и люди и представляются мне все маленькими, маленькими муравьями, ползающими с мелочною работою по великим, громадным памятникам прошедшей жизни. От этого-то зрелища я и хандрю ядовито – ибо обаяние камней одно не питает душу» [3, с. 168].

Однако тонко чувствующая, художественно-поэтическая натура Григорьева, естественно, не могла не отозваться на красоты природы и искусства Италии. В конце концов он признается в своей любви к ней в письме к А.Н. Майкову (1858 г.): «Я полюбил глубокою и не заказною, не казенною любовью твою Италию, полюбил за то божеское, что в ней осталось цело и нерушимо, за ее природу, за ее искусство, ее народ с его эффектными драпировками, вспышками волкана и звонким горлом. Она, твоя Италия, – дала мне много – откровение того, что мне не доставало, откровение *пластического*. Это ее дар мне, дар такой драгоценный, за который я непрестанно благодарю ее» [3, с. 202].

В критике европейской культуры Григорьев все глубже уяснял себе Россию и православие. Глубокая вера в русский народ и его духовное здоровье сочеталась у мыслителя с убежденностью, что европейская цивилизация уже пережила свои лучшие времена, уже не способна к значительному культурному творчеству и

только порождает неверные теории, например социализм. Это вызывает в Григорьеве чувство жалости, снисходительности, но не враждебности и не опасности. Мыслитель настаивает только на их противоположности – противоположности теории и жизни, Запада и Востока. Сама теория, по мнению мыслителя, «есть результат жизненного истощения» западного мира. Она не продуктивна, поскольку содержит неверные мысли о том, «что человечество существует само для себя, для своего счастья – стало быть, должно *определиться* теоретически, успокоиться в конечной цели, в возможно полном пользовании» [3, с. 193]. Географически определяя Россию как Восток, Григорьев видит ее предназначение и силу совсем в другом: «Восток внутренне носит в себе живую мысль, что человечество существует во *свидетельство* неистощенных еще и неистощимых чудес великого Художника, наслаждаться призвано светом и *теньями* его картин. Отсюда и грань. Запад дошел до отвлеченного лица – человечества. Восток вернет только в душу *живу* и не признает *развития* этой души» [3, с. 193]. Эта идея о миссии России вынашивалась Григорьевым еще до поездки за границу и напрямую связана с его почвенничеством. Предчувствие новой жизни, новой культуры, создателем которой является русский народ, было движущей силой григорьевской критики европейской культуры и теории социализма как непосредственного порождения этой культуры. Григорьев служил славянской идее, как бы воплощая ее в России и православии, и он имел право говорить о том, что европейская культура, внешне еще живая, внутренне была уже мертва. Православная культура, которую должны создать славянские народы, и больше всего русский народ, еще подарит миру лучшие свои плоды.

Итогом заграничных размышлений Григорьева стала написанная книжка «различных философских мечтаний о русском начале», с содержанием которой он познакомил приехавшего в Италию Тургенева. Знаменитый писатель сделал замечание по поводу стиля, вообще характерного для Григорьева, – «разбросанности мысли», но при этом признал, что Григорьевым создано новое оригинальное направление, «крепкое и цельное», не принадлежащее ни к одному из существующих направлений, поэтому обреченное на непонимание и на непризна-

ние. Тем не менее, критика Григорьевым западной культуры, а также его идеи о самобытности национальных культур, развивающихся и дифференцирующихся в ходе своей эволюции, об особой миссии русского православного народа, призванного «дать новые формы жизни, искусства» благодаря широте «его нравственного захвата», попали в России на плодотворную почву. Во второй половине XIX века эта про-

блематика заняла центральное место в теоретических построениях таких выдающихся русских философов, как Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В.Ф. Эрн. Под непосредственным влиянием Григорьева оказались такие интересные мыслители, как Н.Н. Страхов и Н.Я. Данилевский, создавший «теорию культурно-исторических типов».

Список использованной литературы:

1. Григорьев А.А. Искусство и нравственность. – М.: Искусство, 1986.
2. Григорьев А., Фет А. Поэзия. Проза. Воспоминания. – М.: Слово, 2000.
3. Григорьев А.А. Письма. – М.: Наука, 1999.
4. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. – М.: Издательство «Республика», 2005.
5. Кантор В. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ).

Сведения об авторе: Писарчик Татьяна Петровна – кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии Оренбургского государственного университета 460018, пр-т Победы, 13, тел.: (3532) 372573; 62-77-92, e-mail: leonidtp@yandex.ru

Pisarchik T.P.**CRITICISM OF EUROPEAN CULTURE IN WORK OF A. GRIGORIEV**

In this article the solution of the problems of two cultures interaction - West-European and Russian by the famous is regarded by the famous thinker of the middle of XIX century A.A. Grigoriev. Reasoning from “organic” understanding of culture Grigoriev insists on opposition of European culture as Catholic and Russian culture as Orthodox, affirming at the same time the idea of Russian culture futurity as developing and regarding all wealth of Orthodoxy as true God perception.

Key words: science of soil, organitism, culture, Slavdom, Europeism, Westernism, Slavophilism, national roots, Orthodoxy.